Иван Созонтович Лукаш

Статьи

Иван Лукаш

Статьи

«Public Domain»
1940

Лукаш И. С.

Статьи / И. С. Лукаш — «Public Domain», 1940

«В Смутных временах московских и в его фигурах часто ищем мы соответствия с нашими временами.Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, освободитель Москвы, – одна из основных фигур победы над Смутой. Но фигура недостаточно ясная. Мы знаем, как он с Мининым, с нижегородским ополчением освободил Москву. Но мы мало знаем, как создавалась, складывалась натура князя Дмитрия Михайловича в самом мареве Смуты…»

© Лукаш И. С., 1940
© Public Domain, 1940

Содержание

Князь Пожарский 5
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Иван Лукаш
Статьи

Князь Пожарский

I

В Смутных временах московских и в его фигурах часто ищем мы соответствия с нашими временами.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, освободитель Москвы, – одна из основных фигур победы над Смутой. Но фигура недостаточно ясная. Мы знаем, как он с Мининым, с нижегородским ополчением освободил Москву. Но мы мало знаем, как создавалась, складывалась натура князя Дмитрия Михайловича в самом мареве Смуты.

А именно в том, как складывались русские души в Смуте, можно, пожалуй, искать соответствия с нашими временами. Забелин определяет людей в Смуте кратко: *прямые* и *кривые.*

Как мы все, почти поголовно вся Россия, повинны в духовном попустительстве и в увлечении «мартовской прелестью», переворотом 1917 года, так поголовно повинна вся Московская Русь в «прелести Дмитриевой», в признании царем Лжедмитрия. Тогда не прельстился один только не любимый современниками и оболганный историками князь Василий Шуйский. Именно князь Василий начал *выпрямлять* русские души в Смуте, *кривых* превращать в *прямых,* и, можно сказать, не будь Шуйского, не создалось бы и Пожарского.

Вся жизнь князя Пожарского прошла в Смутные времена. Ко времени второго московского ополчения князю Дмитрию было уже под сорок.

Он был, по дельному исследованию Корсаковой, сыном князя Михаилы Пожарского, по прозвищу Глухого, и Марии Беклемишевой, позже инокини Евдокии. Опала Ивана Грозного подсекла его род. Деда Пожарского за то сослали в Казань вскоре же после ее взятия. Князья Пожарские так и остались там «нанизу». Захудали.

Князь Дмитрий родился в лесной вотчине Пожарских, деревеньке Три Дворища, на реке Лухе. Еще отроком, в 1581 году, князь отказал родовую деревеньку в Суздальский Ефимом монастырь.

В 1598 году, через десять лет, молодой князь Дмитрий – князюшко захудалый, ветром подбитый – пришел искать доли и счастья к Московскому двору. У двора он стал стряпчим.

Тогда-то он был и на соборе всея Русской земли, избиравшем на царство Московское царя Бориса Федоровича.

Князь Пожарский стал ближним боярином Бориса. Правда, в первый же год, не из-за князя, как кажется, а из каких-то теремных, бабьих дел его матери, царь Борис отдалил было от себя молодого князя, но с 1602 года князь Дмитрий и его мать приближены к Борисову верху снова.

Мать князя Пожарского стала верховой боярыней несчастнейшей из царевен, царевны Ксении Борисовны, а князь Дмитрий пожалован в стольники.

Деревенский захудалый князь, отчасти напоминающий сельских английских джентльменов времен Кромвеля, начал свою скромную службу при царе Борисе. Князь сам вспоминает о Борисовых временах, что тогда к нему «милость царская воссияла»…

Но вот блеснула, вот пала на Русскую землю ослепительная молния – царевич Дмитрий. Сияющее видение, от которого Русь исступилась в светлом сумасшествии. Внезапный, чудесный царевич явился как грозный ангел Божий, карающий злодея Бориса.

И поголовно вся Московская земля, кроме Василия Шуйского, знающего о смерти царевича Дмитрия все, поверила, что на Москву идет истинный, законный государь.

Поверил и молодой князь Пожарский. Больше того, весной 1606 года он был на Москве, при дворе Лжедмитрия, наверху, дворецким. Князь Пожарский стал одним из ближних молодых бояр Лжедмитрия. Князь Пожарский был у его стола за обедом в честь Марины Мнишек. Князь Пожарский был на свадьбе Лжедмитрия с Мариной, а «за еством» сидел на почетном месте у прльских послов…

Непростительная вина Карамзина, исказившего всю эту русскую эпоху в сентиментально-дешевую мелодраму, исказившего и фигуру Василия Шуйского, – непростительная хотя бы потому, что Карамзину поверил Пушкин.

Но именно несчастный царь Василий Шуйский, не овладевший пожаром Смуты, когда все кругом измалодушествовались, *покривились,* не остановивший шатания царства и оболганный позже русской историей и русским художеством, был, тем не менее, первым из всех московских людей, кто открыл Москве, что Лжедмитрий не царевич. Шуйский первый поднял восстание против Лжедмитрия и поляков. Шуйский первый бросил Лжедмитрию: «Ты не царь, ты вор».

И за то пошел на плаху, пошел твердо и гордо, как истинный потомок благоверного князя Владимира.

Лжедмитрий помиловал его с плахи, милостью думал купить княжеское молчание. Но Шуйский, возвращенный из ссылки, снова поднял заговор на Москве против Лжедмитрия.

Шуйский сорвал с польского свистуна царские одежды, в которые тот обрядился. Может быть, именно за то московские люди и не любили Шуйского, что холодным ударом он рассек мороку, замысел сказки о спасенном царевиче: людям хотелось верить сказке.

Шуйский сверг Лжедмитрия. Именно Василий Шуйский начал отстаивать, собирать в Смуте русские души от воровства к царю и закону, всем открыл глаза: или *прямить* за истинного, законного московского царя, или *кривить* за ворами и прелестными воровскими вымыслами.

Царю Шуйскому не *удалось выпрямить* русскую землю. И разве это не символ, не героическая фигура, царь-пленник Василий, умерший в плену у поляков…

Одно удалось царю Шуйскому: начать *прямить* русские души. И среди других душу князя Пожарского. Шуйский *выпрямил* его и создал, так сказать, для русского будущего.

После Лжедмитрия против царя Василия Шуйского поднялись десятки лжедмитриев. А сильнее всех Тушинский вор.

Князь Пожарский, целовавший крест царю Василию Шуйскому, отрицает Тушинского вора. Князь уже не верит больше «прелести Дмитриевой». Для Пожарского явление всех царевичей Дмитриев стало одним воровством царства. Духовный склад князя Пожарского с той поры можно определить верностью службы законному государю и тоской по законном государе, противостоятеле воровской смуты.

Но еще шатались все. Если молодой и ловкий царь Борис не устоял, слабому, старому, всеми нелюбимому царю Василию нечего было и думать совладать с воровским призраком царевича Дмитрия. Он был как былинка на русском пожаре. Князь Дмитрий Пожарский упорно и верно стоял и за царя-былинку.

Натура Пожарского вполне сложилась в 1609 году. Это была пора московского осадного сидения от Тушинского вора. Москва голодала. Русские тушинцы, поляки, Литва, разбойные казаки грабили по всем дорогам кругом Москвы обозы с хлебом. Уже никто не верил, что Шуйский уцелеет. Вся малодушная Москва стала перелетом. Шуйскому изменяли все, кто мог. От Шуйского на поклон к вору и за милостями валила в Тушино разнузданная за эти годы чернь, ошалевшие служилые люди, боярство, княжеские роды: Трубецкие, Сицкие, Юрьевы, Черкасские, Долгорукие.

Но захудалый князек, Дмитрий Пожарский, который был тогда от царя Василия воеводой в Зарайске, отказался целовать крест вору:

– На Московском государстве есть царь, ему и повинуюсь, – твердо ответил он на все посулы.

С небольшим отрядом ратных людей он заперся от вора в Зарайском крепостном кремле.

Упорство воеводы перегнуло зарайских людей. Здесь снова можно заметить, какой сокрушительный удар нанес по всей Смуте Василий Шуйский. Уже до всех дошло его: «Ты не царь, ты вор».

Люди уже перестали слепо, по-детски верить, что ни Дмитрий, то и царь. И в Зарайске люди поцеловали крест на верность царю Василию.

Василий Шуйский утверждал Московскую землю *в прямоте.* Но царя не любили, он не привлекал ни сердца, ни воображение. А внезапная смерть молодого московского сокола князя Михаилы Скопина-Шуйского окончательно подсекла царство Василия. Его обвинили, что он отравил молодого Скопина по зависти. Действительно, князь Михайло занемог после пира у царского брата, князя-завистника Дмитрия.

Тогда неистовый рязанский воевода Прокопий Ляпунов стал звать князя Пожарского на восстание против царя Василия. Прокопий Ляпунов шатался. Он уже начал сноситься с Тушинским вором.

Но Пожарский Ляпунову отказал. Пожарский остался до конца верен царю-былинке.

Одного из немногих своих верных воевод царь Василий наградил в Суздальском уезде деревеньками с пустошами и жалованной грамотой, в которой прекрасно очерчен облик Пожарского: «Многую службу и дородство показал, голод и во всем оскудение, и всякую осадную нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо, безо всякий шатости».

Пожарский тогда уже вышел из всякой шаткости Смуты, отыскал свой упор, твердость разума, в общем шатании. Упор простой: быть верным законному государю. В этом весь склад духа Пожарского: служба Василию – царю законному, ему крест целовали, ему и не отвергаться клятвы, ему и служить до смерти. А других царей на Москве нет…

Но уже через год, в 1610 году, изворовавшиеся московские люди с тем же неистовым Прокопием Ляпуновым свергли царя Василия и насильно постригли.

В Москве стало царевать боярство, и Московская боярская дума избрала на царствие польского королевича Владислава.

Что же князь Пожарский?

Князь Пожарский дал присягу королевичу Владиславу. В этом вся глубина тоски московского служилого человека по законным временам царства и по законному государю. В захудалом волжском князе как бы сочетался образ всех служилых прямых московских людей, застигнутых Смутой. Он не судит, не рядит, не мутит, не свергает, не перелетает, не шатается и не ворует. Он служит царю по кресту и по совести. Он как будто только и ждет того, кому отдать по всей совести свою присягу и верную службу.

По кресту и совести он служил царю Борису. По кресту и совести он служил и Лжедмитрию, покуда не узнал, не понял, что все Дмитрии – обман и воровство. По совести он служил царю Василию.

По совести стал служить и новому государю, природному королевичу Владиславу, а не вору, избранному Москвой по закону. Ни крупинки бунтовщика или мятежника не было в князе Пожарском.

II

С королевича Владислава начался новый поворот московской Смуты – московская разруха.

Низкопоклонники поляков на Москве стали требовать на царский престол уже не Владислава, а его отца, короля Сигизмунда III. Сам Сигизмунд охотно помогал таким происками.

Что же делает Пожарский?

Князь Пожарский, до того наотрез отказавший рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову подымать с ним восстание против царя Василия, теперь немедленно соглашается идти на выручку Москвы от нового воровства, тем более, что надменные поляки бесчинствовали на Москве.

В январе 1611 года князь Пожарский пошел на помощь Ляпунову – самой мятежной душе среди мятежных душ Смуты, – осажденному тогда воровскими казаками в Пронске.

Пожарский освобождает Ляпунова от осады, идет с ним на Переяславль, возвращается в Зарайск.

Зарайский кремль осадили тогда воровские казаки Сунбулова. Пожарский отбивает их, гонит. Сунбулов бежит. Это была такая яркая победа, что люди в Зарайске благодарили самого Миколу, чудотворца Зарайского, за помощь прямому их воеводе.

Вся рязанская земля скоро отбилась, очистилась от воровства. Тогда воеводы многих городов с Ляпуновым и Пожарским во главе пошли ополчением очищать от Сигизмундова воровства Москву. Первое ополчение поднялось не против королевича Владислава, а за Владислава против Сигизмунда.

В Москве тогда кипело восстание. Московское восстание 1611 года – перелом всей Смуты. В нем именно утвердилась московская нация. Восстание поднялось уже не за царевича Владислава против Сигизмундовой измены, а против самого чужеземного ига, против всей этой блестящей и рваной, вонючей, пьяной, бряцающей оружием и хвастовством толпы чванных завоевателей, презирающих московитов, даже не почитающих их за людей, а за бородатый скот, с которым позволено все…

Удивительно, как ничему не научились минутные захватчики: презрение и ненависть к Москве, какие они принесли с Лжедмитрием, уже однажды кончились для них самой ярой расправой, когда Москва растерзала в клочья и их и Лжедмитрия. Теперь повторялось то же. Но польские и литовские люди решили на Москве восстание раздавить.

19 марта 1611 года поляки вышли из Кремля сильной вылазкой. Они внезапно кинулись на московские улицы. Началось повальное избиение в Китай-городе, is Торговых рядах – до Тверских ворот. Поляки вырывали мятеж с корнем.

От Тверских ворот поляков отбили стрельцы. Поляки повернули на Сретенку.

Князь Пожарский отбивался с пушкарями на Лубянке, у церкви Введения Богородицы, где был его дом и где спешно насыпали острожек-крепостцу.

Поляков стали теснить назад, в Китай-город. Поляки бросились на Кулишки, за Москва-реку. Они подожгли Белый город.

Тогда всем могло открыться, что засела в Кремле, прикрываясь царскими именами Владислава и Сигизмунда, как прикрывалась раньше царским именем Дмитрия, не царева власть, а поработители царства, истязатели, ненавистники Москвы и московского народа.

Москва день и ночь кипела от боев, ходила пожарами. Ночью к Ляпунову подошел на помощь воевода Плещеев.

И к полякам подошел сильный отряд полковника Струся.

Ободренные поляки первые кинулись на московских людей, погнали Плещеева, раздули пожары, сожгли церковь Ильи-Пророка, Зачатьевский монастырь, Деревянный город, снова кинулись на Сретенку, на Кулишки.

Рассвет застал Москву в гуле огня, воплях, стрельбе.

Но где Пожарский?

День, ночь, почерневший от пороха, обгоревший, он отбивается со своими пушкарями на Лубянке.

Он ранен, лицо и кафтан в крови, он изнемогает, он видит, что верх берут поляки. Москва в огне. Раненый, он плачет совершенно по-детски:

– Лучше бы мне умереть, нежели видеть такое бедствие…

Он видит последнее крушение Московского царства. Пушкари подняли его на руки, понесли к телеге.

Без дорог, в потоке телег, его гонят из Москвы к Троице-Сергиеву. Князь теряет память, снова приходит в себя. Как будто видит он черный сон. Москва уходит, бежит: сметенными толпами идут бородатые стрельцы с пищалями, пушкари, женщины, стрельцы. Москву смело. И не закон, и не царь в его сгоревшей Москве, где пепел сеется по пожарищу, а ярмо поработителей.

В разгромленном восстании за королевича Владислава против короля Сигизмунда служилый и никак не мятежный князь Пожарский впервые стал мятежником. Теперь он уже не за Владислава и не за Сигизмунда, а за освобождение Русской земли и от них и от всей Смуты.

Раненый князь скрывается. Он лесует где-то в своей вотчине, в Трех Дворищах, на реке Лухе.

Сигизмундовы люди, поляки и русские, московские рвачи и прихвостни, уже теснят мятежного князя, чуют расправу над ним и свою поживу.

Григорий Орлов – зловещее имя, цепкое, жадное – один из предков екатерининских Орловых, подает 17 августа 1611 года на князя челобитную-донос королю Сигизмунду и королевичу Владиславу, выпрашивает за свою службу Сигизмунду деревеньку князя Дмитрия Пожарского, Нижний Ландех: «за его, князь-Дмитрия измену, что отъехал в воровские полки и ранен, сражаясь с королевскими войсками, когда мужики изменили на Москве».

Орлов получил от Гонсевского Нижний Ландех, оттягал себе княжескую деревеньку. Так князь Пожарский был объявлен изменником и королю и королевичу.

Но осенью 1611 года на освобождение Москвы, Дома Пресвятой Богородицы, поднялся Нижний Новгород.

Нижегородцы искали вождя. В лесную глушь к князю Пожарскому и пошли их послы – многажды, как рассказывает сам князь Дмитрий:

– Присылали по меня, князя Дмитрия, из Нижнего многажды, чтобы мне ехать в Нижний для земского совета, и я по их прошению приехал к ним в Нижний.

Князь позже скажет даже, что его к такому делу бояре и вся земля «сильно приневолили».

Он отказывается, он опасается нового разгрома, измены, «поворота вспять».

Этот средний провинциальный служилый человек, можно сказать, без рассуждений служивший каждому государю, который объявлялся законным Москвою, теперь самим ходом событий превращался в вождя национальной революции, поднятой нижегородским ополчением.

Для того прежде всего нужны были средства, казна, жалованье ратным людям. Князь сам указывает, кому быть «у такого великого дела»:

– У вас есть в городе человек бывалый, Козьма Минин Сухорук, ему такое дело в обычай.

Нижегородский выборный земский староста, говядарь Козьма Захарыч был душой нижегородского народного подъема. Это он вдохновлял толпу у собора призывами совершить великое дело, помочь Московскому государству:

– Какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело…

Козьму Захарыча выбрали к великому делу. Он, как и князь, тоже опасается «поворота вспять». Он требует письменного приговора:

– Чтобы слушаться меня и князя Дмитрия Михайловича во всем, ни в чем не противиться, давать деньги на жалованье ратным людям, а если денег не станет, то я силою буду брать у вас животы, жен и детей отдавать в кабалу, чтобы ратным людям скудности не было.

Нижегородцев обычно изображают в розовых красках, как доброхотных щедрых жертвователей и только. На деле же в те времена первого русского Апокалипсиса они дали Минину круговую поруку за себя и за свои семьи, самую жестокую и самую крутую поруку в русской истории: отдавать свои достатки, а у кого их не было, – самим идти в кабалу ради освобождения Москвы, Дома Пресвятой Богородицы.

С вдохновенной суровостью наши предки нашли и себе силы больше, чем на самопожертвование, больше, чем на самоограничение. Они шли ради великого дела даже на личную кабалу на всю жизнь.

По мирскому приговору земский староста Козьма Захарыч обложил всех пятою деньгою.

Это значило, что в казну стали отбирать для земского дела пятую часть достатка каждого. Никаких послаблений не давалось никому. Кто упорствовал, у того отбирали силою. Брали у всех: у мирских, священства, монастырей. Все было обложено. Многие несли больше, чем требовалось. Одна вдова принесла оценщикам и сборщикам Минина двенадцать тысяч тогдашних могучих московских рублей – громадное состояние:

– Десять берите себе, а две оставьте мне на дожиток…

И мало, что отнимали силой от тех, кто упорствовал или скаредничал. Кто не мог дать пятой деньги, тот закабалялся у тех, кто за них платил. Люди закабалялись на всю жизнь, ради освобождения царства Московского. Даже и тени такого величественного грозного национального самоограничения, самопожертвования не повторилось во времена нашей несчастной белой войны с большевиками…

Под знамена Пожарского и Минина стали стекаться все, кто желал *выпрямления* Русской земли, освобождения ее от Смуты.

Грамоты Пожарского и Минина подымали Волгу. В Нижний пришли дети боярские из Арзамаса, пришло рязанское ополчение, пришли дорогобужане, вязьмичи. К Пожарскому стала стекаться вся живая московская нация. В Нижнем началась национальная революция, и ее вождем стал служилый князь Пожарский.

Для него вся Смута и воровство на Москве – от Литвы и Польши: они обманули Москву Лжедмитрием, они обманули ее и королевичем Владиславом. Все воровство от них.

– Будем же над польскими и литовскими людьми помышлять все за один, сколько милосердный Бог помощи дает, – зовет мятежная грамота Пожарского. – О всяком земском деле учиним крепкий совет, а на государство не похотим ни литовского короля, ни Маринки с сыном, ни того вора Сидорки, что стоит под Псковом.

Все минутные владыки Московской земли уже стали для Пожарского одним ненавистным вором Сидоркой.

А из Москвы при первых же вестях о нижегородском мятеже, Заруцкий, за ним Просоветский послали литовских и польских казаков занять Ярославль и поморские города, чтобы отрезать их от мятежного Нижнего.

Но намерение занять Ярославль было и у Пожарского. Он мог бы, так сказать, накоротке, по прямой – на Владимир – двинуться из Нижнего к Москве. Но он решил идти обходом – дугой – по Волге.

Передовым на Ярославль князь посылает своего правнучатого брата, удалого воеводу, молодого князя-тезку Дмитрия Пожарского, прозвищем Лопата.

Князь-Лопата – это, можно сказать, боевая грудь всего освобождения Руси от Смуты. Он всегда передовой в боях, удалой князь, с таким добродушным и сильным прозвищем, о ком, к нашему стыду, мы, русские, не знаем почти ничего.

Под Ярославлем князь-Лопата переловил воровских казаков Заруцкого, а Просоветский, узнавший о движении Лопаты, на Ярославль не пошел.

Зато туда с ополчением двинулся князь Пожарский, через Балахну, Юрьевец, Решму, Кинешму и Кострому, где ему был выдан воевода Иван Шереметьев. Князь же Лопата с нижегородскими и балахнинскими стрельцами подался на Суздаль.

И в первые дни апреля 1612 года князь Пожарский вступил в освобожденный Ярославль.

III

В Ярославле Пожарский точно бы замирает. Его зовут на спасение Москвы, можно сказать, вопят о помощи. Но он не торопится. Четыре месяца он не трогается из Ярославля.

Спокойный, неторопливый, упорный, он прежде всего создает в Ярославле русское земское правительство, вызывает туда грамотами «из всяких чинов людей человека по два», учреждает Земский собор из служилых, духовных, посадских и тягловых людей для обсуждения, «как быть прибыльнее земскому делу». Главой ярославского правительства становится Троицкий митрополит Кирилл.

В Новгород киязь Пожарский посылает Степана Татищева, с ним «из всех городов по человеку от разного чина», чтобы разузнать о договорах новгородцев с Делагарди и о призыве ими на царский престол шведского королевича.

Пожарский как будто соглашается, чтобы шведский королевич Карл-Филипп стал царем Московским. Но как бы и не соглашается. Может быть, только задабривает шведов, чтобы те пошли с Тихвина на поморские города, когда сам с ополчением двинется на Москву. Князь затевает волокиту переговоров со шведами, еще не зная, кого и где искать государем на Москву.

Но Земский собор он уже возит в своем обозе наготове, чтобы «выбрать государя по совету всего государства».

В Ярославле иссякли собранные деньги. Грамоты назначают новые и жестокие поборы. И трогательно, что князь не раз расписывается на грамотах за неписьменного Козьму Захарыча, прикладывая руку «в выборного человека всею землей, в Козьмино место Минино».

В Углич, Пошехонье, к Антониеву монастырю гнать воров Пожарский посылает все того же удалого князь-Лопату.

Пожарский очищает землю кругом себя. *Прямит* ее. А сам все не трогается. Этим он отчасти напоминает медлительного Кутузова. По-видимому, он опасался противников и еще больше – союзников, звавших его к Москве.

Его звала туда дикая и ярая разбойничья голытьба Заруцкого, стоявшего под Москвой, и воровские казаки изворовавшегося, надменного и кичливого князя Трубецкого.

Оба сначала были против Пожарского. Оба целовали крест псковскому вору Сидорке. Потом оба отложились от Сидорки, почуяли силу Пожарского, и его стали звать на помощь к Москве.

Но Пожарский не верил им. Он знал, что Заруцкий, прикончивший Ляпунова, подсылал убийц и к нему. Он им до самого конца не будет верить.

Эта непрочная, шатунная Русь, обернувшаяся буйством и разбоем, кидающаяся всюду, где только чует свою безнаказанность и власть своего буйства. Такие московские союзники были Пожарскому страшнее противника. Надо было стать сильнее их, чтобы идти с ними на соединение.

Пожарский силу и набирал. Он опасался спеха. Смысл ярославской медлительности в том, чтобы сначала осилить Смуту вокруг себя.

– Прежде всего надо было осадить, взять приступом свою собственную Смуту, – замечает Забелин. – И эта осада была несравненно мудренее осады Китай-города или Кремля…

Осада собственной Смуты. Пожарский хорошо понял, что Смута есть прежде всего смута душ, что надо начать с перестраивания душ, тогда рассеется и сама Смута.

Есть и еще одно, почему-то не замечаемое многими историками: восстание Нижнего Новгорода против польского королевича и короля на Москве было в своей основе религиозным восстанием, религиозной войной.

Нельзя забывать, что на Волге восстал тот самый московский народ, который еще недавно с гордым чувством почитал свою Русскую землю державным Третьим Римом – единственным, другому не быть, православной наместницей Божией в мире или, как называли наши праотичи отечество, Домом Пресвятой Богородицы.

Дом Богородицы теперь потоптан, опаскужен, попсован и кем? – папежниками, литвой, ляхами, крыжниками, самыми ненавистниками православной земли, и за одно с ними изворовавшимся русским бунтом. Нижний восстал за Русь именно как за веру, за старую веру, так же как позже пойдет за нее на костер железный протопоп Аввакум.

Восставшая Русь Козьмы Минина, нельзя забывать, была та же, что и Аввакумова Русь, – упорная до ожесточения и суровая до самозакабаления.

И вот такая Русь уже в Ярославле. Русское правительство, утвердившееся там, именовало себя в грамотах величаво:

– Великих государств и Российского царствия бояре и воеводы и по избранию Московского государства всяких чинов людей, многочисленного войска ратных и земских дел стольник и воевода князь Димитрий Пожарской со товарищи…

Но живого знамени, но объединяющего, победного образа у ярославского правительства не было.

У Московской боярской думы было свое живое знамя – польский королевич Владислав. У Новгорода тоже было – королевич Карлус Шведский. А у Ярославля нет во главе ни царевича, ни королевича. Государя нет. Какое-то громоздкое, довольно смутное и, если хотите, потеперешнему республиканское правительство учредилось в Ярославле – «всяких чинов люди и князь Пожарский со товарищи».

Не помышлял ли этот скромный, служилый человек из захудалых и опальных князей поставить самого себя во главе Руси, стать чем-то вроде московского Кромвеля?

Нет, не помышлял никогда. А вся его тоска и все его поиски – законный государь, которому присягнула бы Русь и подчинилась, кому отдали бы всю веру и службу, без остатка. Но из своих таких уже не видно ни одного, изворованы, погублены или попсованы Смутой. На Руси все поедом едят друг друга, нет никому веры, никто никого не уважает. Нет на Руси такого, кому бы все подчинились.

Боярская дума на Москве поняла это и первая потянула к чужеземному корню. То же понял и Новгород.

А как Ярославль?

В первую пору Ярославль несомненно был за шведского королевича Карла-Филиппа. В июне 1612 года до Ярославля добралось из Новгорода посольство – игумены, торговые люди, дворяне с пятин, с ними князь Федор Черный-Оболенский. Князь Оболенский сказал прямо, что новгородцы желают иметь государем шведского королевича, что королевич уже прибывает вскоре в Новгород, и добавил:

– Чтобы и вы все, меж собой договор учиня, похотели бы быти с Великим Новгородом в общей любви и добром совете, и похотели бы вам на государство Московское и на все государ-

ства Российского царствия государя нашего, пресветлейшего и благородного, великого князя Карлуса-Филиппа Карлусовича…

Заметьте, Новгород говорит с Ярославлем как отдельное государство, уже имеющее своего пресветлого государя Карлуса. И Пожарский как будто соглашается, чтобы шведский королевич занял Московский престол, лишь бы принял православие и дал запись на управление землей Земским собором. Но князь подчеркивает в ответе: «Искони Великий Новгород от Российского государства отлучен не бывал. И ныне то видеть по-прежнему…» Князь опасается также, как бы не вышло со шведским королевичем «тоя же статьи», какая учинилась с польским королевичем Владиславом, вместо которого пожелал царствовать никем не званный король-отец.

– А тоя статьи, – отвечает ему Оболенский, – как учинил на Московском государстве литовский король, от Свейского королевства мы не чаем…

Но все что-то мучает, тревожит князя Пожарского. Не хочет он Карлуса. У него есть свои, еще неясные мысли о государстве. Он жалеет, что в Ярославле нет Василия Голицына, с которым он породнился через свою жену, что Голицын, бывший послом в Польше, задержан там Сигизмундом.

– Только бы такой столп, как князь Василий Голицын, был здесь. – говорит Пожарский на прощанье Оболенскому. – И об нем бы все держались, и я к такому великому делу мимо него не принялся бы, а то ныне к такому великому делу бояре и вся земля сильно приневолили.

Пожарский колеблется, не находит твердого решения. По отъезде Оболенского он посылает своих послов в Новгород, Секерина и Шишкина, сказать:

– Буде, господа, королевич по вашему прошению вас не пожалует и по договору в Великий Новгород нынешнего года по летнему пути не будет, и во всех городах о том всякие люди будут в сумнении, а нам без государя быти невозможно, сами ведаете, что такому великому государству без государя стояти нельзя…

Пожарский этим указывает, что окончательно не договорился о королевиче и что сам ищет государя. Так оно и было. У ярославского правительства был свой претендент на Московский престол. В те дни, когда Ярославль вел переговоры с Новгородом, в Ярославле начались переговоры и с послом германского императора Матвия. Проездом из Персии, посол германского императора Иосиф Грегори не случаем завернул в Ярославль. Грегори и предложил Пожарскому на царство Московское Максимилиана, брата германского императора. В трех ставленниках на Московский престол – Владиславе, Карле, Максимилиане – как бы скрестилась вся будущая история России в Европе, три великих силы тогдашней Европы – Польша, Швеция и Германия – стали оспаривать между собою московское наследство. Первая начала Польша, верная служанка Рима. Она первая учла слабость Борисова царствования и как будто решила захватить Москву одним сокрушительным ударом: царевич Дмитрий. Лжедмитрия можно отчасти сравнить со знаменитым пломбированным вагоном наших времен. Этот удар был тонко рассчитан и превосходно задуман, вероятнее всего, в Риме. Если это так, то это был план сокрушения самой схизмы московской, еретической Руси, при посредстве своего ставленника – царя. Это был гениальный план торжества Рима над Москвою. И Лжедмитрия в таком случае можно рассматривать только как средство для всеоправдывающей цели: завоевания московских еретиков. А Риму ли было не знать, что в таких страшных войнах с еретиками хороши все средства. И удивительно – в том именно и сказался живой гений нашего народа в Смуту, – что московский народ почуял какой-то обман в Лжедмитрии, какую-то заднюю мысль в нем, какую-то иную тень за ним. Возможно, что из беглых холопов – почему беглый холоп Болотников мог жить в Турции и в Италии – был выбран какой-нибудь другой московский беглец для ослепительной роли воскресшего царевича, тот – рыжий, с бородавкой, с живыми карими глазами, порывистый и великодушный, непутевый и хвастливый Дмитрий Первый Московский. Во всяком случае в Лжедмитрии, с его беглым знанием латыни, с его

подписью «Imperator», во всем чувствуется сладковатое и, вероятнее всего, иезуитское воспитание тогдашней Италии, тогдашней Флоренции… Но царевичу Дмитрию не удалось завладеть еретичкой-Русью. Тогда литовский король Сигизмунд, заслонясь королевичем Владиславом, как будто решил овладеть ею силой. Но против Польши вмешалась Швеция, а за нею против Польши и против Швеции вмешалась Германия.

Вмешательство трех могущественных сил тогдашней Европы – Польши, Швеции, Германии – основное событие русской Смуты XVII века.

Польша проникла глубже всех: она уже давно дошла до самой Москвы. Швеция в противовес ей надвигалась с севера и у нее был Новгород.

Германия, когда Ярославль выбрал своим ставленником на Московский престол брата германского императора, оказалась против Польши и Швеции в самом сердце взволнованной, мятущейся страны на Волге.

Какие видения ходили перед московским служилым человеком Пожарским, какие пророчества слышались ему? Может быть, те же видения, какие будут позже у царя Петра о преображении царева народа в нацию европейскую, пророчества о величественном восстановлении Московской державы под скипетром германского кесаря? Или князь только хитрил, выбирая третьего претендента и желая тем освободиться от двух других?

Как бы то ни было, ярославское правительство князя Пожарского решило вести в московские государи брата германского императора.

Пожарский посылает из Ярославля германскому императору посла Еремея Еремеева, и повезенная им грамота о помощи в войне с литовским королем подписана двадцатью четырьмя членами нижегородского земского ополчения.

В Ярославле ополчение и князь Пожарский свой выбор сделали: Германия…

Потомок заметит, разумеется, что все тогдашние русские люди, одинаково желавшие освобождения своей земли от Смуты, уже не надеялись на собственные силы и все были за иностранное вмешательство.

Самое освобождение Москвы в некотором смысле – только спор между тремя разными русскими направлениями такого вмешательства: одни были за польское вмешательство, другие – за шведское и, наконец, третьи – нижегородское ополчение – за германское.

Стоит ли говорить, что сторонники разных направлений смертельно ненавидели друг друга. Известно, как. Михайло Салтыков, особенно горячий поборник королевича Владислава и в этом смысле совершенно честный и совершенно верный московский патриот, дерзнул замахнуться ножом на самого патриарха Гермогена, не признавшего вначале латинника-королевича.

– Я не боюсь твоего ножа, – ответил Гермогеи. – Я вооружусь против ножа силой Креста честного… Будь ты проклят от нашего смирения в сем веке и в будущем…

Но и Гермоген, проклявший в горячке спора Салтыкова, позже, как Салтыков, дал согласие на избрание в московские государи королевича Владислава…

А третье направление, третья сила – Германская империя, пришла в движение по призыву Ярославля.

Кесарь отозвался вполне. Он стал готовить посольства в Москву и Польшу и после отказа Максимилиана избрал для занятия Московского престола своего двоюродного брата.

Казалось, начинается нечаянное приобщение Московии к Германии, соединение их под одним скипетром в одну величайшую германо-русскую державу… Предчувствовал ли Пожарский московского кесаря Петра, или предчувствовал он те времена, какие еще могут быть после всех нас? Но громадная тень поднялась внезапно на Волге за нижегородским ополчением, за мужицкими войсками князя Пожарского – тень германского императора.

К Москве на помощь и на защиту прав польского претендента спешил между тем коронный гетман Ходкевич.

Троицкая лавра, Трубецкой, Заруцкий, все непрочные союзники Пожарского звали его к Москве. Ходкевич мог в 1612 году так же смести Пожарского, как в 1611 году его и Ляпунова разбил Гонсевский. Дальше медлить было нельзя.

Пожарский посылает вперед к Москве все того же князь-Лопату, боевую грудь русских освободительных войск, с воеводами Левашевым и Дмитриевым, и сам 28 июля 1612 года (едет за ними все ополчение.

14 августа победные войска Пожарского вошли в Троице-Сергиевскую лавру.

Силы ополчения стали огромными. Они разрастались от победного движения. Победа радостным светом вдохновляла всех. И уже была близка Москва…

К Троице пришла к Пожарскому любопытная грамота из Гамбурга: английские и голландские офицеры, с ними – известный и по своим запискам и по упоминанию его имени Пушкиным – французский капитан Жак Маржерет, просились на службу в ополчение.

Иностранные бродячие капитаны так же, как Трубецкой и Заруцкий, почуяли силу нижегородского ополчения, новую передрягу и боевые опасности, к которым привыкли, и наживу. Война была для них ремеслом. Честные военные авантюристы честно торговали своей шпагой и кровью.

Но Пожарский со товарищи грамотой в августе 1612 года любезно отклоняет их наем. Так он уверен в своих силах.

Любезностей не нашлось у Пожарского только для капитана Маржерета.

Жак Маржерет был самым рьяным распространителем слухов о спасении царевича Дмитрия. Этот французский капитан Жак может быть образцом чужеземных перелетов в русской Смуте. От царя Бориса он перелетает к Лжедмитрию, потом к Тушинскому вору, от вора к полякам против русских, теперь просится против поляков к Пожарскому.

Пожарский удивляется в ответной грамоте, как так Маржерет очутился в Гамбурге и предлагает свои услуги против поляков:

– А мы чаяли, что за его неправду ни в которой земле ему, опричь Польши, места не будет…

«За его неправду ни в которой земле ему места не будет» – такая оценка не теряет своей свежести и теперь для многих прихлебателей советчины…

От Троицы 18 августа ополчение двинулось на Москву.

Коронный гетман Ходкевич с Наливайко, поляками, венгерцами, литовцами были уже на Поклонной горе. 21 августа Ходкевич перебрался через Москва-реку у Ново-Девичьего.

Подошедший Пожарский послал на подмогу Трубецкому, стоявшему с казаками за Кремлевским Бродом, пять конных сотен, лучших бойцов ополчения, а сам двинулся навстречу Ходкевичу.

Громадные конные толпы сшиблись. Блистательная польская конница была, несомненно, лучше мужицкой, земской конницы Поволжья.

Но русские с поразительной стойкостью вынесли удар. В духоте, в пыли, в лязге, храпе и ржании коней мчался бой в тот душный день. Бились, не уступая, семь часов.

От Трубецкого помощи не приходило.

Больше того, воровские казаки Трубецкого встречали нижегородские полки улюлюканием, криками:

– Богаты пришли из Ярославля… Одни можете отбиться от гетмана…

И Трубецкой не тронулся. У него могло быть намерение обессилить нижегородское ополчение, союзника на час, предать его и передаться более сильному Ходкевичу.

Пернатая польская конница уже теснит русскую. Русские всадники спешиваются, дерутся врукопашную. Неужели снова, как в 1611 году, поляки сломят, погонят русских?

Именно тогда в казачьих таборах Трубецкого, обдаваемых пылью сражения, случилось мгновенное чудо, какое не учитывают никакие намерения и расчеты.

В таборах поднялся жадный вопль из пересохших глоток, горячий, гневный. Головы конных сотен, присланных Пожарским, и казацкие атаманы стали бранить, «лаять», Трубецкого:

– Отчего не помогаешь погибающим? – кричали атаманы. – Из-за вашей вражды творится пагуба Московскому государству…

В этом вопле пересохших глоток внезапно заговорила, можно сказать, сама русская совесть. И Трубецкой был увлечен общей жаждой удара.

Его свежая конница хлынула на помощь Пожарскому.

Поляки дрогнули. Поляки стали отступать на Поклонную гору. Стрельцы тогда же отбили польскую вылазку из Кремля.

Ходкевич в Кремль не пробился. Он отошел к Донскому монастырю.

День Москва молчала.

Ходкевич перестраивался для нового прорыва в осажденный Кремль.

Трубецкой увел своих казаков в таборы, и 23 августа Ходкевич стал теснить московские войска.

Тогда Авраамий Палицын поехал к Трубецкому просить помощи Пожарскому. Упросил, пообещавши разбойному князю всю монастырскую казну Троице-Сергиева.

24 августа на рассвете Ходкевич всеми силами пошел в переправу на Замоскворечье.

Между развалин, по ямам и рвам пожженной Москвы спешенная польская конница тащила тяжелые возы с припасами для Кремля.

На Пятницкой улице завязался нечаянный бой.

Козьма Захарыч Минин, говядарь и земский староста, ополченский воевода, с тремястами ратников ударил здесь в тыл Ходкевичу, на литовцев. В бою на глазах Козьмы Захарыча был смертельно ранен его юный племянник.

Внезапный удар Минина вызвал замешательство у наступающих, тогда же московские стрельцы ударили по польским обозам у церкви Святого Климента папы Римского, захватили с налета четыреста возов, отрезали толпы войск. Это было в самый полдень.

Безветренный, душный полдень 24 августа 1612 года и можно считать началом конца страшной московской Смуты.

После двух ударов Ходкевич повернул от Москвы, вышел к Воробьевым горам. Всю ночь, обессиленный потерями, коронный гетман стоял у Донского монастыря, а на рассвете потянулся из Москвы.

Осажденным в Кремле он подал весть, что уходит за запасами, и обещал вернуться.

Ходкевич ушел. Пожарскому теперь осталось сломить самый Кремль.

Трубецкой величался перед Пожарским, требовал себе чести, обижался, что князь Дмитрий не ездит к нему на совет.

Трубецкой, может быть, еще думал, что это полупобеда, а не победа, Ходкевич еще может вернуться, сдует мужиков Пожарского, и он, Трубецкой, снова будет царевать в Смуте.

Разбойный князь, можно сказать, «кочевряжился» перед Пожарским. Пожарский хорошо понял его павлинью спесь и пошел с ним на искренний сговор. Они договорились, что все грамоты должны отныне подписываться обоими князьями вместе, «а которые учнут приходить от одного, тем не верить». Они порешили сообща вести осаду Кремля и съезжаться для совещаний на Неглинной, на самой Трубе.

Замечательно, как оразбойнившийся князь Трубецкой, пустившийся по всем ветрам и пожарам Смуты, самый воровской князь, князь-Смута, целовавший крест в потеху любому вору Сидорке, с дней осады Кремля становится одной из опорных сил освобождения Руси от Смуты.

Трубецкой как будто не принял обещанной ему монастырской казны, стал чуждаться буйных пиров. Он точно очнулся от беспробудного пьянства, все страшно болит, а сам озирается: «Господи, да что же я наделал», – и уже крестится дрожащей рукою…

Искренность, прямота и сила Пожарского переменили Трубецкого: как Пожарского *выпрямил* Шуйский, так Трубецкого *выпрямил* Пожарский.

И с дней осады Кремля их имена становятся рядом…

15 сентября, когда Москва немного отдышалась после Ходкевича, Пожарский послал письмо полякам, засевшим в Кремле с полковниками Стравинским и Будзило. Достойное письмо, полное уважения к ратному противнику, к этому презрительному, буйному, но благородному польскому рыцарству. Пожарский предлагает им почетную сдачу.

Помощи не будет. Не вернется Ходкевич. Наливайко с казаками ушел от него из-под Смоленска. Жолкевский в Валахии терпит от турок, Сапега и Зборовский заняты на Литве. Никто не придет на Москву. И уже нет больше розни среди московских людей. Пусть поляки выходят из Кремля. Их отпустят в Польшу. Изнемогшим вышлют подводы. А кто пожелает служить в Москве, тех пожалуют по достоинству.

– Ваши головы и жизни будут охранены, – пишет Пожарский. – Я возьму это на свою душу и упрошу согласиться на то всех ратных людей…

Но на достойное письмо от поляков пришел недостойный ответ, хвастливый, надменный, смешанный с презрительной бранью: и московский-де народ самый подлый на свете, и всех-де ждет жестокая расправа Владислава.

– Мы не закрываем от вас стен Кремля, добывайте их, если они вам нужны, – отвечают поляки. – А напрасно царской земли шпынями и блинниками не пустошите. Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам твоих людей. Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, поп пусть знает церковь, Козьмы пусть занимаются своей торговлей – в царстве тогда лучше будет, нежели теперь, при твоем правлении…

Нельзя, впрочем, забывать, что для поляков, служивших королевичу Владиславу и королю Сигизмунду, как и для тех московских людей, кто отсиживался с ними в Кремле, ополчение Минина и Пожарского, взятие Москвы и осада Кремля – все это было только холопским мужицким бунтом против королевичей и короля.

Через месяц после упорной и неторопливой подготовки Пожарский назначил, наконец, штурм Кремля.

22 октября общим приступом был взят Китай-город. Осажденные поляки голодали, ели кошек, мышей, грызли ремни. В Китай-городе нашли чаны, наполненные человеческим мясом. Но поляки не сдавались, они заперлись в Кремле.

Они только выпустили голодавших вместе с ними жен и детей московских бояр, стоявших за Владислава и Сигизмунда.

Казаки думали взять сигизмундовых боярынь в потеху. Пожарский и Минин их защитили.

Поляки в Кремле изнемогли, теперь они просили только оставить жизнь им и бывшим с ними московским боярам и чтобы в плен их принял не Трубецкой, а Пожарский.

Пожарский слово дал. Кремль сдается.

Ополчение встретило сдающихся на Каменном мосту у Троицких ворот, что выходят на Неглинную. Казаки Трубецкого прискакали из таборов с барабанами и распущенными знаменами. В князе-Смуте как будто снова проснулся буйный разбойник. Трубецкой хотел переловить и переграбить всех поляков и Владиславовых бояр.

Пожарский развернул против него свое земское ополчение ратным строем. Еще мгновение – и между войсками Трубецкого и Пожарского началось бы побоище. Но Пожарский заставил казаков разойтись по таборам. Здесь Пожарский окончательно перегнул Трубецкого.

Он с почетом принимает сдавшихся поляков, среди них и полковника Будзилу, который издевался над ним в грубом письме.

Пожарский исполнил все, что обещал.

В Нижнем, куда согнали пленных поляков, с ними и полковника Будзилу, нижегородцы порешили ночью перетопить их всех в Волге. Мать Пожарского вышла к буйствующей толпе: – Лучше меня затопчите, меня топите в Волге, а к ним не допущу… За них дано слово моего сына, князя Димитрия. Уважайте и вы все слово, присягу и службу моего сына.

Старая княгиня Пожарская остановила толпу. Все поляки, сдавшиеся князю Дмитрию, остались живы…

От Смуты Москва, казалось, должна была освободиться еще в 1610 году с призванием на царство королевича Владислава.

Польше выпало великое историческое избрание умиротворения и устроения громадного Русского царства.

Коронный гетман Жолкевский подписал с Москвой договор о правлении королевича Владислава.

Королевская власть ограничивалась в управлении боярскими и думными людьми, в законодательстве – Собором всея земли. Королевич присягал не нарушать народных обычаев, не отнимать достатков, не казнить и не ссылать без боярского приговора. Он присягал, что служилыми людьми будут только русские, что он не станет раздавать старостств полякам или литовцам, не построит на Русской земле ни одного костела, никого не совратит в латинство и не пустит в Московское царство ни одного еврея…

Жолкевский, храбрый, великодушный, честный, искренне желал союза-сочетания с Польшей в одно новое русско-польско-литовское королевство.

У Жолкевского было много друзей на Москве. Ему крепко верили недоверчивые московские люди. Достаточно сказать, что Прокопий Ляпунов, поднявший позже восстание против Сигизмунда, доверил Жолкевскому судьбу своего сына Владимира.

И сам суровый патриарх Гермоген, грозно и мученически отрицавшийся всех папежников, был другом Жолкевского. Гермоген поверил Жолкевскому и согласился на призвание королевича Владислава на Московский престол.

Гетман с подлинным благородством отнесся к несчастному московскому царю Василию Шуйскому. Когда на Москве свергли царя Василия, насильно постригли и когда порешили перебить скопом всех Шуйских, их отстоял тот же Жолкевский, повезший царя Василия к литовскому королю. Царь Василий отвечал гетману честной и благородной дружбой до самого конца…

Так с присягой королевичу Владиславу могло казаться, что кончается Смута. Но все опрокинуло грубое вмешательство короля Сигизмунда.

Сигизмунд отзывает из Москвы Жолкевского. Сигизмунд с презрением бросает под ноги привезенный им договор:

– Никогда не допущу своего сына быть московским царем…

Не союз, не сочетание с Москвой, не мирный договор надобен Сигизмунду, а беспощадное завоевание московских еретиков. Вместо согласия с Москвою – война Москве.

Может быть, это Рим желал, чтобы Сигизмунд действовал так против Москвы.

В то время когда сына-королевича призывают на Московский престол, отец-король начинает осаду московского города Смоленска, громит его ядрами, льет русскую кровь…

Русская земля присягала Владиславу, но не Сигизмунду.

И против незваного и непрошеного Сигизмунда, против беспощадного завоевателя, ослабевшая Русская земля нашла силы подняться.

Тот же Прокопий Ляпунов, отдавший своего сына на службу королевичу Владиславу, тот же князь Пожарский, присягавший королевичу, восстают теперь против его отца.

В ходе борьбы с Сигизмундом оба они были объявлены изменниками одинаково и Сигизмунду, и Владиславу. Но все было бы иначе, и не поднялся бы Нижний, Волга, и не взялся бы за оружие князь Пожарский, если бы хотя бы только раз подал свой голос, отдельный от

отца, королевич Владислав, если бы он в чем-нибудь отделил свою личность от королевского величества Сигизмунда.

Вся Русь, уже выходившая из Смуты, несомненно, стала бы за избранного ею королевича Владислава, если бы он остановил грубое завоевательство отца.

Но никогда, но ни разу не подал своего отдельного голоса этот королевич-тень, королевич-привидение. Владислав так и остался в русских событиях какой-то глухонемой пустотой. Он весь растворился, исчез в личности отца. За Владислава во всем действовал Сигизмунд, и потому сам Владислав стал во всем для московских людей Сигизмундовым обманом.

И Москва поднялась против Сигизмуида-Владислава.

Основная ошибка польского вмешательства в русские дела – отказ от честного исполнения договора, заключенного о королевиче Владиславе, замена его открытым завоеванием Москвы.

Другая ошибка поляков – еще со времен ЛжеДмитрия – постоянная их опора на русский бунт, на русскую Смуту. Любого русского вора Польша принимала в свои союзники. Еще слабый Пожарский со своим «волжским мужичьем», и тот долго взвешивал в Ярославле – принимать или не принимать ему в союз воровских казаков Заруцкого и Трубецкого, а могущественная Польша поддерживала на Руси всех лжедмитриев, любое воровство, любую смуту, как бы рассчитывая Смутой вконец развалить Русь, взять ее, ослабевшую, голыми руками…

И третья ошибка поляков XVII века – их совершенное презрение ко всему русскому, презрение дурацкое, надменное и отвратительное, обнаруживающее, прежде всего, неглубину духа самих поляков.

Они легкомысленно рассчитывали, что этот московский народ-раб расшатан своим бунтом, и презирали его, как презирают только завоеванного раба.

Они жесточайше ошиблись во всем.

Вконец расшатанный, вконец изворовавшийся, вконец подавленный Смутой, вконец всеми презренный народ ответил и польской замашке и всем другим не только Мининым и Пожарским, не только освобождением Москвы и восстановлением царства, а ответил он восхождением к небывалому величию молодого Петра…

И теперь сколько людей и целых народов, вернее политиканов этих народов, повторяют отчасти ошибку польской самоуверенности XVII века, что с русским народом раз и навсегда покончила его революция…

Но тогда гений русского народа выбрался из обманов, не менее ослепительных и всеобещающих, чем теперешние, из всех лжедмитриев и болотниковых и вместе с тем из всей игры открытого вмешательства тогдашних основных сил Европы.

В те времена сама Польша по своей вине не поняла, пропустила свое историческое мгновение искреннего, гармонического сочетания будущего с будущим русским.

Поражение поляков в 1612 году в Москве было началом заката Польши, и в победе Пожарского уже была заря победы Петра…

Торжественный вход русских ополчений в освобожденный Кремль начался 25 октября.

От Покровских ворот, от Казанской церкви шел со своими казацкими сотнями князь Трубецкой. Гремели литавры и бубны.

От церкви Иоанна Милостивого на Арбате под шумным лесом знамен двинулось в Кремль ополчение Минина и Пожарского.

Радостный вопль победы и гул тысячи колоколов сотрясали Москву…

На Лобном месте троицкий архимандрит Дионисий отслужил молебствие об освобождении Русской земли, Дома Пресвятые Богородицы, и победители под хоругвями и крестами потекли в Кремль, ворота которого были настежь.

Радость победы – высшую из радостей, даруемых человеку на земле, светлое упоение свершенным до конца делом судил Господь Бог простому служилому московскому человеку, захудалому князю Дмитрию Пожарскому.

На Лубянке, где год назад он упал, изнемогая от ран, князь Дмитрий внес во вновь отстроенную, погоревшую до того церковь Введения, что у островка, образ Божией Матери, Владычицы Казанской, шедший с ополчением от самой Волги на Москву.

Обирание – собирание царства, венчание государя на осиротелое Московское царство было последним делом князя Пожарского.

После освобождения Кремля по всем городам, слободам и посадам от Пожарского и Трубецкого со товарищи пошли нарочные гонцы, призывая всякого чина людей в Москву, на Великий Земский собор.

Тогда же, в ноябре 1612 года, Пожарский ответил и в Новгород на грамоту митрополита Исидора:

– А что ты, великий господин, писал к нам, боярам и воеводам, и ко всей земле, чтобы Московскому государству быть с вами под единым кровом государя королевича Карлуса-Филиппа Карлусовича, и нам ныне такого великого государственного и земского дела одним учинити нельзя…

Пожарский указывает, что необходим совет со всеми людьми Российского царствия «от мала до велика».

Но из Новгорода, от Делагарди, вместо ответа на эту грамоту добрался до Москвы гонец Богдан Дубровский со срочными вестями.

Шведский королевич Карлус уже идет в Новгород. Как быть, присягать королевичу или не присягать? Присягнет Карлусу Москва, присягнет и Новгород, и вся Русь станет Карлусовой.

Пожарский с Трубецким – этот князь теперь всегда с ним рядом, как бы второй его голос, тень, – должны были ответить без уверток.

Вспомним, что из Ярославля Пожарский писал Новгороду, что не даст присяги королевичу шведскому, если он «по летнему пути» в Новгород не пожалует.

Королевич тогда не пожаловал. И Пожарский ему присяги не дал, но, вероятно, если бы королевские шведские войска пришли немедленно на помощь, Пожарский, как и Михайло Скопин-Шуйский, принял бы их помощь и присягнул бы Карлусу.

Шведское вмешательство в русские дела было осторожным, неуверенным, только пограничным, и Пожарский одними своими русскими силами добыл Москву.

Теперь из освобожденной Москвы он дает в Новгород через гонца ответ иной, чем делал бы из Ярославля:

– Того у нас и на уме нет, чтобы взяти иноземца на Московское государство. А что мы с вами ссылалися из Ярославля, и мы ссылались для того, чтобы нам в те поры не помешали, бояся того, чтобы не пошли на московские города, а ныне Бог Московское государство очистил, и мы рады с вами за помощию Божией биться и идти на очищение Новгородского государства…

Как бы и не Пожарский пишет. *Прямой* князь явно *кривит*. Стало быть, все его любезные переговоры с Новгородом были хитростью и обманом. Даже и язык не его, а чудится в нем казацкая косточка: «И мы рады с вами биться…»

По-видимому, Пожарский отвечал Новгороду под давлением Трубецкого, теперешней своей второй души.

Еще в Ярославле и всюду на московском походе Пожарский обычно отыскивал, выбирал, так сказать, равнодействующую, среднюю всех влияний, давлений и обстоятельств. И из Ярославля, когда был слаб, он не так говорил с Новгородом. Если тогда он и не присягал Карлусу, то обнадеживал новгородцев присягой шведскому королевичу. А теперь пишет: «того у нас и на уме нет».

Не в Смуте, а в победе над Смутой, под давлением обстоятельств, впервые как бы начинает *кривить прямой* князь. Он скрывает, что в Ярославле у него было на уме «взяти иноземца на Московское государство», – и кого взяти – самого кесаря германского, кому посылалась и грамота от ополчения и ходил послом Еремей Еремеев.

Победа, восторг победы, а может быть, и малоджанная легкость победы овладения Москвой – все это, по-видимому, заставляло теперь Пожарского искать новую равнодействующую.

Московская победа была взрывом московской племенной гордыни и религиозного исключительства. Теперь нельзя было и заикнуться об иноземце или иноверце на царском престоле. Надо думать, что и Пожарский именно потому пишет теперь, что у него и в уме не было «взяти иноземца», хотя сам же ссылался о том и с германским императором и со шведским королевичем и – нельзя того забывать – присягал королевичу польскому.

А теперь тем самым новгородцам, с которыми был в самом тесном союзе, грозит «биться»…

Именно после московской победы образ Пожарского если не двоится, то начинает мутнеть…

Может быть, виновата усталость князя Дмитрия. А может, и его тяжкий недуг.

Князь Пожарский был болен душевным, иногда находившим на него недугом – черным недугом, как он звался в старину. Теперь его называют тяжелой формой меланхолии.

Тень, тусклая дымка, иногда как бы находит на князя Дмитрия и на победном движении к Москве, и в том же Ярославле, когда жаловался новгородскому послу князю Федору Черному-Оболенскому, что его к ополчению «бояре и вся земля сильно приневолили», как и теперь, на самой вершине победы.

Неясной, тусклой, какой-то незаметной становится фигура Пожарского именно на вершине победы, когда кипел и шумел, сходился и расходился, то додирался до сабель, то разъезжался, когда стал исходить ярой прей многоголовый и многошумный Великий Земский собор об избрании царя на Московский престол.

Дни его совещаний, его споров и тупиков, его страшной растерянности и нерешительности были, собственно, днями глубокой слабости Московского государства.

И Сигизмунд – будь он подлинно сильным, и Владислав, если бы не был он только пустой тенью для русской истории, – мощными ударами, быстрым движением на Москву могли бы еще заставить этот народ и эту страну принять царем Владислава.

Сигизмунд и двинулся было от Вязьмы к Волоколамску, на Москву. Но его передовой отряд был наголову разбит русскими, которых несла крылатая московская победа.

От пленного Сигизмунд узнал, что на Москве русская победа, что русские не примут больше Владислава, что они будут биться до последнего. И от таких вестей Сигизмунд малодушно повернул назад, в Польшу. Именно тогда польский прилив сошел, сбежал по-настоящему с Русской земли.

И московские люди недаром по всем церквам стали петь радостные, благодарственные молебны…

А после трехдневного очистительного поста начались совещания Великого Земского собора. Замечателен такой подъем духа в измученном, расшатавшемся было народе.

– Пусть народ положит подвиг страдания, – призывали его еще недавно Дионисий и Авраамий из Троицкой лавры. – Нам всем за одно положити свой подвиг и пострадати для избавления христианской православной веры…

И вот подвиг страдания свершен, закончен очистительным постом и молитвой всей земли.

А теперь уже шумит Земский собор.

Пожарский не на первом месте на соборе.

На первом месте там старый князь Иван Мстиславский, а Пожарский – в тени, хотя и ведет за старого князя Ивана соборные прения.

Русские на соборе точно все любуются своей победой, ослеплены ее сиянием. Бурно и гордо они вновь поверили в свои племенные народные силы, в своих людей, в себя.

И Пожарский как будто плывет по всем этим волнам собора. Он как будто отказывается от своей затаенной мысли времен Ярославля о сочетании Московского государства с Германской империей в одну мировую державу, вообще от всякой мысли о выборе в цари иностранного королевича.

Никто бы, вероятно, и не посмел подумать о том в светлом опьянении победой, когда воспрянули все охранительные, суровые, исступленные силы Москвы. Дух избранного Израиля Православного, дух замученного Гермогена, носился над собором…

И те самые донские казаки, кто на Москве с налета, в потеху рубили головы каждому, кто заикался против Лжедмитрия, воровские казаки князя-Смуты, князя-Бунта, целовавшие крест любому вору и среди них вору тушинскому, который звался жидом, – именно они жесточее, непримиримее, неукротимее других стали теперь за русский прирожденный корень, за искони православного государя. История знает немало примеров, когда силы беспорядка при перемене равновесия особенно свирепо, впереди других желают засвидетельствовать, что они силы порядка.

А Пожарский все еще искал равнодействующую, на этот раз уже в смуте собора.

Кому же быть царем на Москве?

На соборе творилось великое дело, но там же кипели старые распри, счеты местничества, зависти, жадные властолюбия и прямые подкупы.

Собор стал каким-то чудовищным торжищем подкупов и заманиваний. Воспрянули все рухнувшие было княжата и родовые бояре, желавшие теперь ставить себя на царство. Именно от соборных времен сохранился печальный оборот московской речи: «подкупаться на царство»…

Охрипшие, отчаявшиеся соборяне разъезжались из Москвы, и казалось, снова обрушится в кровавую распрю замученное вконец царство. Но собор съезжался снова.

Кому же быть царем?

Были голоса о возвращении венца царю-пленнику Василию Шуйскому, несчастнейшему царю московскому, оболганному и нелюбому. Но его все побаивались. Дурной глаз был у Василия, невезучего царя.

Самого князя-Смуту Трубецкого выкликали было в московские цари.

Прочили в цари старого князя Мстиславского и князя Василия Голицына, по жене родственника Пожарского. И о самом Пожарском толковали. Но единодушия не было.

А что же сам Пожарский?

Только к февралю 1613 года он нашел, наконец, равнодействующую, среднюю, примиряющий выход.

Именно тогда Пожарский вернулся к своей исходной мысли, которая заставляла его, одного из немногих, оставаться до конца верным царю Василию Шуйскому.

Пожарский стал направлять собор к отысканию законного государя, если не иностранного, то русского, но восходящего до Смуты по законным своим правам на Московский престол.

Утверждением ненарушимого преемства царской власти должен восстановить собор царство. Такова мысль Пожарского.

Два дня, 20 и 21 февраля 1613 года, были решающими для всего русского будущего.

20 февраля, открывая собор, Пожарский поклонился всем и попросил принять на себя «искус» раздумия прежде, чем дать ему ответ.

– Теперь у нас на Москве, – сказал князь Дмитрий, – благодать Божия воссияла, мир и тишина… Станем же у Всещедрого просить, чтобы даровал нам Самодержателя всея Руси… Подайте нам совет. Есть ли у нас царское прирождение?

В этой, так сказать, формулировке – «царское прирождение» – Пожарский впервые высказывает мысль о необходимости искать выхода в законной преемственности царской власти.

Мысль для большинства, по-видимому, нечаянная. Во всяком случае все молчали, как отмечает современник. И потому, разумеется, молчали, что страшная Смута сорвала с Руси все «царские прирождения».

Наконец, после долгого молчания, соборные владыки, архимандриты, игумены, а они были самыми первыми мудрецами на Соборе, подали свой голос:

– Государь Димитрий Михайлович, мы станем собором милости у Бога просить. Дай нам срок до утра…

И в ночь с 20 на 21 февраля 1613 года русская судьба решилась.

20 февраля 1613 года князь Пожарский спрашивает собор:

– Есть ли у нас царское прирождение?

А на другой день, 21 февраля, для большинства собора, по-видимому, нечаянно, мало кому ведомый выборный дворянин от Галича Костромского подал собору выпись о родстве последнего царя из корени Иоаннова, Федора Ивановича, с боярином Федором Романовым, которому де царь Федор и желал завещать царство. Но как боярин Федор Романов при своем гонителе Борисе Годунове был пострижен под именем Филарета и уже давно стал митрополитом Ростовским, а нынче в польском плену, то да будет царем на Москве сын его. Михаил, двоюродный племянник царя Федора Ивановича.

– Кто это писание принес?

– Кто, откуда?

С точностью записывает современник недоуменные крики собора. Никто ничего не понимал – откуда Михаил, – когда самые большие княжатые роды хотели государьиться и воцаряться, докупались на царство. Но такую же выпись о Михаиле подал собору и казацкий атаман с Дону. Собор волновался, гудел тревожно.

– Атамане, – поднялся князь Пожарский. – Какое вы писание положили?

– О природном государе Михаиле Федоровиче, – твердо повторил атаман.

Заветное слово найдено: «природный». Собор начал смолкать, он становится «согласным, единомысленным» – и потому, что найдено заветное слово, и потому, что казацкие сабли сильно перегнули в сторону нечаянного-негаданного Михаила Романова. А в неделю Православия на Красной площади вплотную в духоте стоял московский народ. Архиепископ и архимандриты с келарием Авраамием вышли на Лобное место просить у выборных людей последнего приговора об избрании царя. Но еще до опросных речей вся Красная площадь подняла крик:

– Михаилу Федоровичу быть царем, Михаилу быть государем московским…

Ударили колокола. Москва загудела крылатой медью. В Успенском запели благодарственный молебен. По всей Москве в могучем звоне запели многолетия новому государю, и толпами пошли к присяге стрельцы…

Юный Михаил стал государем. Несомненно, на Великом Земском соборе всех искуснее, тоньше, книжнее были черные и белые клобуки, соборное духовенство и монашество. Именно они направляли собор, владели его душами, его мнением. Инесомненно, что духовенством и был подвинут к престолу костромской мальчик – боярин Михаил Романов, он – избранник духовенства. Искусники собора в клобуках и рясах хорошо знали, что делать в ночь на 21 февраля. Только они одни и знали. В ту ночь они договорились с силой – с казацкими саблями, и внезапно открыли собору своего избранника, никак не тронутого, уж по самой юности своей,

Смутой. Они одни понимали, что государством будет на деле управлять не этот мальчик, а его отец, мудрый митрополит Филарет, которого, конечно, вызволят из польского плена. Церковь будет управлять державой. В этом была мысль духовенства, выдвинувшего Михаила. Все боярские роды изворовались, обвалились в Смуте. На них уже опасно ставить государство. На новой силе надо его ставить. Сама церковь будет властительницей. Костромской мальчик только ее ставленник, а будет править митрополит Филарет, его изберут патриархом, и патриарх станет великим государем в новом патриаршем государстве Московском. Так все и свершилось. С избрания Михаила начинаются времена патриаршего государства. И патриарх Филарет, отец Михаила, действительно стал Великим государем. Гений Московской Руси именно в эту эпоху достиг своей полноты: он утвердил нацию как религиозное воплощение народа. Но уже при царе Алексии патриаршее государство дало страшную трещину: распря Никона с Алексием и раскол обвалили его духовное единство. А царь Петр, во всей силе своей грозы, его беспощадно сдернул и прикончил. Петр начался в борьбе против церковного государства – нельзя забывать, что он начал со всепьянейших и всешутейных соборов…

Бурный гений Петра промчался мимо московского понимания нации и государства как религиозного преображения всей жизни. Нация для Петра была победой, гражданством, просвещением, а не религиозным подвигом и преображением. Петр, несмотря на весь блеск и лавры, как бы снизил или сдавил дыхание нации: московская нация, победившая Смуту, что, может быть, не менее значительно, чем Полтавская победа, как будто чаяла религиозного преображения всей жизни, вселенского преображения, а Петр в ответ на это как будто дал только московскому телу заемную европейскую душу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.